

ГЛАВА I

Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть.

О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись: «А также Джорджиана, супруга вышереченного» — вызывала в моем детском воображении образ матери — хилой, веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле.

Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, — кладбище; что Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана,

супруга вышереченного, умерли и похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александер, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, — это болота; что замыкающая их свинцовая полоска — река; далекое логово, где родится свирепый ветер, — море; а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, — Пип.

— А ну, замолчи! — раздался грозный окрик, и среди могил, возле паперти, внезапно вырос человек. — Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу!

Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге! Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой. Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, тарашил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.

— Ой, не режьте меня, сэр! — в ужасе взмолился я. — Пожалуйста, сэр, не надо!

— Как тебя звать? — спросил человек. — Ну, живо!

— Пип, сэр.

— Как, как? — переспросил человек, сверля меня глазами. — Повтори.

— Пип. Пип, сэр.

— Где ты живешь? — спросил человек. — Покажи!

Я указал пальцем туда, где на плоской прибрежной низине, в доброй миле от церкви, приютилась среди ольхи и ветел наша деревня.

Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня вниз головой и вытряс мои карманы. В них ничего не было, кроме куска хлеба. Когда церковь стала на место, — а он был до того ловкий и сильный, что разом опрокинул ее вверх тормашками, так что колокольня очутилась у меня под ногами, — так вот, когда церковь стала на место, оказалось, что я сижу на высоком могильном камне, а он пожирает мой хлеб.

— Ух ты, щенок, — сказал человек, облизываясь. — Надо же, какие толстые щеки!

Возможно, что они и правда были толстые, хотя я в ту пору был невелик для своих лет и не отличался крепким сложением.

— Так бы вот и съел их, — сказал человек и яростно мотнул головой, — а может, черт подери, я и взаправду их съем.

Я очень серьезно его попросил не делать этого и крепче ухватился за могильный камень, на который он меня посадил, — отчасти для того, чтобы не свалиться, отчасти для того, чтобы сдержать слезы.

— Слышь, ты, — сказал человек. — Где твоя мать?

— Здесь, сэр, — сказал я.

Он вздрогнул и кинулся было бежать, потом, остановившись, оглянулся через плечо.

— Вот здесь, сэр, — робко пояснил я. — «Также Джорджана». Это моя мать.

— А-а-а, — сказал он, возвращаясь. — А это, рядом с матерью, твой отец?

— Да, сэр, — сказал я. — Он тоже здесь: «Житель сего прихода».

— Так, — протянул он и помолчал. — С кем же ты живешь или, вернее сказать, с кем жил, потому что я не решил еще, оставить тебя в живых или нет.

— С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена кузнеца, сэр.

— Кузнеца, говоришь? — переспросил он. И посмотрел на свою ногу.

Он несколько раз переводил хмурый взгляд со своей ноги на меня и обратно, потом подошел ко мне вплотную, взял за плечи и запрокинул назад сколько мог дальше, так что его глаза испытующе глядели на меня сверху вниз, а мои растерянно глядели на него снизу вверх.

— Теперь слушай меня, — сказал он, — и помни, что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Что такое подпилоч, ты знаешь?

— Да, сэр.

— А что такое жратва, знаешь?

— Да, сэр.

После каждого вопроса он легонько встряхивал меня, чтобы я лучше чувствовал грозящую мне опасность и полную свою беспомощность.

— Ты мне достанешь подпилоч. — Он тряхнул меня. — И достанешь жратвы. — Он снова тряхнул меня. — И прине- сешь все сюда. — Он снова тряхнул меня. — Не то я вырву у тебя сердце с печенкой. — Он снова тряхнул меня.

Я был до смерти перепуган, и голова у меня так кружилась, что я вцепился в него обеими руками и сказал:

— Пожалуйста, сэр, не трясите меня, тогда меня, может, не будет тошнить и я лучше пойму.

Он так запрокинул меня назад, что церковь перескочила через свою флюгарку. Потом выпрямил одним рывком и, все еще держа за плечи, заговорил страшнее прежнего:

— Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилоч и жратвы. Вон туда, к старой батарее. Если принесешь, и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят и съедят. И ты не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля свой секрет есть, как добраться до мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо и никто его не тронет, а мой приятель тихонько к нему подберется, да и зарежет!.. Мне и сейчас-то, знаешь, как трудно сделать, чтобы он на тебя не бросился. Я его еле держу, до того ему не терпится тебя сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?

Я сказал, что достану ему подпилоч, и еды достану, сколько найдется, и принесу на батарею рано утром.

— Повтори за мной: «Разрази меня Бог, если вру», — сказал человек.

Я повторил, и он снял меня с камня.

— А теперь, — сказал он, — не забудь, что обещал, и про того моего приятеля не забудь, и беги домой.

— П-покойной ночи, сэр, — пролепетал я.

— Покойной! — сказал он, окидывая взглядом холодную мокрую равнину. — Где уж тут! В лягушку бы, что ли, превратиться. Либо в угря.

Он крепко обхватил обеими руками свое дрожащее тело, словно опасаясь, что оно развалится, и заковылял к низкой церковной ограде. Он продирался сквозь крапиву, сквозь репейник, окаймлявший зеленые холмики, а детскому моему воображению представлялось, что он увертывается от мертвецов, которые бесшумно протягивают руки из могил, чтобы схватить его и утащить к себе, под землю.

Он дошел до низкой церковной ограды, тяжело перелез через нее, — видно было, что ноги у него затекли и онемели, — а потом оглянулся на меня. Тогда я повернул к дому и пустился наутек. Но, пробежав немного, я оглянулся: он шел к реке, все так же обхватив себя за плечи и осторожно ступая сбитыми ногами между камней, набросанных на болотах, чтобы можно было проходить по ним после затяжных дождей или во время прилива.

Я смотрел ему вслед: болота тянулись передо мною длинной черной полосой; и река за ними тоже тянулась полосой, только поуже и посветлее; а в небе длинные кроваво-красные полосы перемежались с густо-черными. На берегу реки глаз мой едва различал единственные во всем ландшафте два черных предмета, устремленных вверх: маяк, по которому держали курс корабли, — очень безобразный, если подойти к нему поближе, словно бочка, надетая на шест; и виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место. Мысль эта привела меня в содрогание; заметив, что коровы подняли головы и задумчиво смотрят ему вслед, я спросил себя, не кажется ли им то же самое. Я огляделся, ища глазами кровожадного приятеля моего незнакомца, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако страх снова овладел мною, и я, уже не останавливаясь больше, побежал домой.

ГЛАВА II

Моя сестра миссис Джо Гарджери была меня старше более чем на двадцать лет и заслужила уважение в собственных глазах и в глазах соседей тем, что воспитала меня «своими руками». Поскольку мне пришлось самому додумываться до смысла

этого выражения и поскольку я знал, что рука у нее тяжелая и жесткая и что ей ничего не стоит поднять ее не только на меня, но и на своего мужа, я считал, что нас с Джо Гарджери обоих воспитали «своими руками».

Моя сестра была далеко не красавица; поэтому у меня создалось впечатление, что она и женила на себе Джо Гарджери своими руками. У Джо Гарджери, светловолосого великана, льняные кудри обрамляли чистое лицо, а голубые глаза были до того светлые, как будто их синева нечаянно перемешалась с их же белками. Это был золотой человек, тихий, мягкий, смиренный, покладистый, простоватый, Геркулес и по силе своей, и по слабости.

У моей сестры, миссис Джо, черноволосой и черноглазой, кожа на лице была такая красная, что я порою задавал себе вопрос: уж не моется ли она теркой вместо мыла? Была она рослая, костлявая и почти всегда ходила в толстом переднике с ляжками на спине и квадратным нагрудником вроде панциря, сплошь утыканным иголками и булавками. То, что она постоянно носила передник, она ставила себе в великую заслугу и вечно попрекала этим Джо. Я, впрочем, не вижу, зачем ей вообще нужно было носить передник или почему, раз уж она его носила, ей нельзя было ни на минуту с ним расстаться.

Кузница Джо примыкала к нашему дому, а дом был деревянный, как и многие другие, — вернее, как почти все дома в нашей местности в то время. Когда я прибежал домой с кладбища, кузница была закрыта и Джо сидел один в кухне. Так как мы с Джо были товарищами по несчастью и у нас не было секретов друг от друга, он и тут шепнул мне кое-что, едва я, приподняв щеколду и заглянув в щелку, увидел его в углу у очага, как раз против двери.

— Миссис Джо раз двенадцать, не меньше, выходила тебя искать, Пип. Сейчас опять пошла, как раз будет чертова дюжина.

— Ой, правда?

— Правда, Пип, — сказал Джо. — И хуже того, она Щекотун с собой захватила.

Услышав эту печальную весть, я совсем упал духом и, глядя в огонь, стал крутить единственную пуговицу на своей жилетке. Щекотун — это была трость с навощенным концом, до блеска отполированная частым щекотанием моей спины.

— Она тут сидела, — сказал Джо, — а потом как вскочит, да как схватит Щекотун, да и побежала лютовать на улицу. Вот так-то, — сказал Джо, глядя в огонь и помешивая угли просунутой через решетку кочергой. — Взяла да и побежала, Пип.

— Она давно ушла, Джо? — Я всегда видел в нем равного себе, такого же ребенка, только побольше ростом.

Джо взглянул на стенные часы.

— Да наверно, уже минут пять как лютует. Ого, идет! Прячься за дверь, дружок, да завесься полотенцем.

Я послушался его совета. Моя сестра миссис Джо распахнула дверь и, почувствовав, что она не отворяется до конца, немедленно угадала причину и стала ее обследовать с помощью Щекотуна. Кончилось тем, что она швырнула мною в Джо, — в семейном обиходе я нередко служил ей метательным снарядом, — а тот, всегда готовый принять меня на любых условиях, спокойно усадил меня в уголок и загородил своим огромным коленом.

— Где тебя носило, постреленок? — сказала миссис Джо, топнув ногой. — Сейчас же говори, где ты шатался, пока я тут места себе не находила от беспокойства да страха, а не то выволоку тебя из угла, будь вас тут хоть полсотни Пипов и целая сотня Гарджери.

— Я только ходил на кладбище, — сказал я, плача и потирая побитые места.

— На кладбище! — повторила сестра. — Кабы не я, ты бы давно был на кладбище. Кто тебя воспитал своими руками?

— Вы, — сказал я.

— А для чего это мне понадобилось, скажи на милость? — продолжала сестра.

Я всхлипнул:

— Не знаю.

— Ну и я не знаю, — сказала сестра. — В другой раз ни за что бы не стала. Это-то я знаю наверняка. С тех пор как ты родился, я вот этот передник, можно сказать, никогда не снимала. Мало мне горя, что я кузнецова жена (да притом муж-то Гарджери), так нет, изволь еще тебе быть матерью!

Но я уже не прислушивался к ее словам. Я уныло смотрел на огонь, и в злобно мерцающих углях передо мной вставали болота, беглец с тяжелой цепью на ноге, его таинственный

приятель, подпилоч, жратва и связывавшая меня страшная клятва обворовать родной дом.

— Н-да! — сказала миссис Джо, водворяя Щекотун на место. — Кладбище! Легко вам говорить «кладбище»! — Один из нас, кстати сказать, не произнес ни слова. — Скоро я по вашей милости сама попаду на кладбище, и хороши вы, голубчики, будете без меня! Нечего сказать, славная парочка!

Воспользовавшись тем, что она стала накрывать на стол к чаю, Джо заглянул через свое колено ко мне в уголок, словно прикидывая в уме, какая из нас получится парочка, в случае если осуществится это мрачное пророчество. Потом он выпрямился и, как обычно бывало во время домашних бурь, стал молча следить за миссис Джо своими голубыми глазами, правой рукой теребя свои русые кудри и бакены.

У моей сестры был особый, весьма решительный способ готовить нам хлеб с маслом.левой рукой она крепко прижимала ковригу к нагруднику, откуда в нее иногда впивалась иголка или булавка, которая затем попадала нам в рот. Потом брала на нож масла (не слишком много) и размазывала его по хлебу, как аптекарь готовит горчичник, проворно поворачивая нож то одной, то другой стороной, аккуратно подправляя и обирая масло у корки. Наконец, ловко отерев нож о край горчичника, она отпиливала от ковриги толстый ломоть, рассекала его пополам и одну половину давала Джо, а другую мне.

В тот вечер я не посмел съесть свою порцию, хоть и был голоден. Нужно было приберечь что-нибудь для моего страшного знакомца и его еще более страшного приятеля. Я знал, что миссис Джо придерживается строжайшей экономии в хозяйстве и что моя попытка стащить у нее что-нибудь может окончиться ничем. Поэтому я решил на всякий случай спустить свой хлеб в штанину.

Оказалось, что отвага для выполнения этого замысла требуется почти сверхчеловеческая. Словно мне предстояло спрыгнуть с крыши высокого дома или броситься в глубокий пруд. И еще больше затруднял мою задачу ничего не подозревавший Джо. Оттого, что мы, как я уже упоминал, были товарищами по несчастью и в своем роде заговорщиками, и оттого, что он по доброте своей всегда рад был меня позабавить, мы завели обычай — сравнивать, кто быстрее съест хлеб: за ужином мы украдкой показывали друг другу свои надкусанные

ломти, а потом старались еще пуще. В тот вечер Джо несколько раз вызывал меня на это дружеское состязание, показывая мне свой быстро убывающий ломоть; но всякий раз он убеждался, что я держу свою желтую кружку с чаем на одном колене, а на другом лежит мой хлеб с маслом, далее не початый. Наконец, собравшись с духом, я решил, что больше медлить нельзя и что будет лучше, если неизбежное свершится самым естественным при данных обстоятельствах образом. Я улучил минуту, когда Джо отвернулся от меня, и спустил хлеб в штанину.

Джо явно огорчился, вообразив, что я потерял аппетит, и рассеянно откусил от своего хлеба кусок, который, казалось, не доставил ему никакого удовольствия. Он гораздо дольше обычного жевал его, что-то при этом обдумывая, и наконец проглотил, как пилюлю. Потом, нагнув голову набок, чтобы получше примериться к следующему куску, он невзначай поглядел на меня и увидел, что мой хлеб исчез.

Изумление и ужас, изобразившиеся на лице Джо, когда он, не успев донести ломоть до рта, впился в меня глазами, не ускользнули от внимания моей сестры.

— Что там еще случилось? — сварливо спросила она, отставляя свою чашку.

— Ну, знаешь ли! — пробормотал Джо, укоризненно качая головой. — Пип, дружок, ты себе этак и повредить можешь. Он где-нибудь застрянет. Ты ведь не прожевал его, Пип.

— Что еще случилось? — повторила сестра, повысив голос.

— Я тебе советую, Пип, — продолжал ошеломленный Джо, — ты покашляй, может, хоть немножко да выскочит. Ты не смотри, что это некрасиво, ведь здоровье-то важнее.

Тут сестра моя совсем взбеленилась. Она налетела на Джо, схватила его за бакенбарды и стала колотить головой о стену, а я виновато взирал на это из своего угла.

— Теперь ты, может быть, скажешь мне, что случилось, боров ты пучеглазый, — выговорила она, переводя дух.

Джо рассеянно посмотрел на нее, потом так же рассеянно откусил от своего ломтя и опять уставился на меня.

— Ты ведь знаешь, Пип, — торжественно произнес он, засунув хлеб за щеку и таким таинственным тоном, словно, кроме нас, в комнате никого не было, — мы с тобой друзья, и не стал бы я никогда тебя выдавать. Но чтобы так... — он отодвинул

свой стул, посмотрел на пол, потом опять перевел глаза на меня, — чтобы враз проглотить целый ломоть...

— Опять глотает не прожевав? — крикнула сестра.

— Ты пойми, дружок, — сказал Джо, глядя не на миссис Джо, а на меня и все еще держа свой кусок за щекой, — я в твоём возрасте и сам так озорничал и много мальчишек видел, которые этакие штуки выкидывали; но такого я сроду не запомню, Пип, и счастье еще, что ты жив остался.

Сестра коршуном налетела на меня и за волосы вытащила из угла, ограничившись зловещими словами:

— Открой рот.

В те дни какой-то злодей-доктор воскресил репутацию дегтярной воды как лучшего средства от всех болезней, и миссис Джо всегда держала ее про запас на полке буфета, твердо веря, что ее лечебные свойства вполне соответствуют тошнотворному вкусу. Этот целительный эликсир давали мне в таких количествах, что, боюсь, порою от меня несло дегтем, как от нового забора. В тот вечер, ввиду серьезности заболевания, дегтярной воды потребовалась целая пинта, какую в меня и влили, для чего миссис Джо зажала мою голову под мышкой, словно в тисках. Джо отделался половинной дозой, которую его, однако, заставили проглотить (к великому его расстройству, — он размышлял о чем-то у огня, медленно дожевывая хлеб), потому что его «схватило». Судя по собственному опыту, могу предположить, что схватило его не до приема лекарства, а после.

Укоры совести тяжелы и для взрослого, и для ребенка; когда же у ребенка к одному тайному бремени прибавляется еще и другое, спрятанное в штанине, это — могу засвидетельствовать — поистине суровое испытание. От греховной мысли, что я намерен обокрасть миссис Джо (что я намерен обокрасть самого Джо, мне и в голову не приходило, потому что я никогда не считал его хозяином в доме), а также от необходимости и сидя, и на ходу все время придерживать рукою хлеб, я едва не лишился рассудка. А когда угли в очаге разгорались и вспыхивали от ветра, налетавшего с болот, мне чудился за дверью голос человека с цепью на ноге, который связал меня страшной клятвой и теперь говорил, что не может и не хочет голодать до утра, а подавай ему есть сейчас же. Беспokoил меня и его приятель, так жаждавший моей крови, — а вдруг у него не хватит терпения или же он по ошибке решит, что может угоститься

моим сердцем и печенкой не завтра, а уже сегодня. Да, если у кого-нибудь волосы вставали дыбом от ужаса, так, наверно, у меня в тот вечер. Но может, это только так говорится?

Дело было в сочельник, и меня заставили от семи до восьми, по часам, месить скалкой рождественский пудинг. Я попробовал месить с грузом на ноге (при этом лишний раз вспомнив про груз на ноге того человека), но от каждого моего движения хлеб неудержимо стремился выскочить наружу. К счастью, мне удалось под каким-то предлогом ускользнуть из кухни и спрятать его у себя в каморке под крышей.

— Что это? — спросил я, когда, покончив с пудингом, сел у огня погреться, пока меня не погнали спать. — Это пушка стреляет, Джо?

— Угу, — ответил Джо. — Опять арестант дал тягу.

— Что ты сказал, Джо?

Миссис Джо, всегда предпочитавшая сама давать объяснения, отчеканила: «Сбежал. Утек» — так же безапелляционно, как поила меня дегтярной водой.

Видя, что миссис Джо снова склонилась над своим рукоделием, я беззвучно, одними губами, спросил у Джо: «Что такое арестант?» — а он, тоже одними губами, произнес в ответ длинную фразу, из которой я разобрал только одно слово — Пип.

— Один арестант дал тягу вчера вечером, после заката, — сказал Джо вслух. — Они тогда стреляли, чтобы оповестить об этом. Теперь, видно, оповещают о втором.

— Кто стрелял? — спросил я.

— Вот несносный мальчишка, — вмешалась сестра, оторвавшись от работы и строго взглянув на меня, — вечно он лезет с вопросами. Кто вопросов не задает, тот лжи не слышит.

Я подумал, как невежливо она говорит о себе, — значит, если я буду задавать вопросы, то услышу от нее ложь. Но вежливой она бывала только при гостях.

Тут Джо еще подлил масла в огонь: широко раскрыв рот, он старательно изобразил губами слово, которое я истолковал как «блажит». Я, натурально, показал на миссис Джо и произнес одним придыханием: «Она?» Но Джо и слышать об этом не хотел и, снова разинув рот, нечеловеческим усилием выдавил из себя какое-то слово, какое — я так и не понял.

— Миссис Джо, — обратился я с горя к сестре, — объясните, пожалуйста, — мне очень интересно, — откуда это стреляют?

— Господи помилуй! — воскликнула сестра так, словно она просила для меня у Господа чего угодно, но только не помилования. — Да с баржи!

— А-а-а, — протянул я, глядя на Джо. — С баржи!

Джо укоризненно кашлянул, словно хотел сказать: «Я же так и говорил!»

— А что это за баржа? — спросил я.

— Наказание с этим мальчишкой! — вскричала сестра, указывая на меня рукой, в которой держала иголку, и качая головой. — Ответишь ему на один вопрос, так он тебе еще десять задаст. Плавающая тюрьма на старой барже, что стоит за болотами.

— Интересно, кого сажают в эту тюрьму и за что, — сказал я с мужеством отчаяния, ни к кому особо не адресуясь.

Терпение у миссис Джо лопнуло.

— Вот что, голубчик, — сказала она, быстро вставая, — не для того я воспитала тебя своими руками, чтобы ты из людей душу выматывал. Не велика бы мне тогда была честь. В тюрьму людей сажают за убийство, за кражу, за подлоги, за разные хорошие дела, а начинают они всегда с того, что задают дурацкие вопросы. А теперь — марш в постель.

Брать с собой наверх свечу мне не разрешалось. Я ошупью поднимался по лестнице, в ушах у меня звенело, потому что миссис Джо, в подкрепление своих слов, наперстком отбивала дробь на моей макушке, и я с ужасом думал о том, как удобно, что плавающая тюрьма так близко от нас. Было ясно, что мне ее не миновать: я начал с дурацких вопросов, а теперь собираюсь обокрасть миссис Джо.

Много раз с того далекого дня я задумывался над этой способностью детской души глубоко затаить в себе что-то из страха, пусть совершенно неразумного. Я смертельно боялся кровавого приятеля, зарившегося на мое сердце и печеньку; я смертельно боялся моего знакомого с цепью на ноге; связанный страшной клятвой, я смертельно боялся самого себя и не надеялся на помощь моей всемогущей сестры, которая на каждом шагу шпыняла меня и осаживала. Страшно подумать, на какие дела меня можно было бы толкнуть, запугав и принудив к молчанию.

В ту ночь, едва я закрывал глаза, мне мерещилось, что быстрым течением меня несет прямо к старой барже; вот я проплы-

ваю мимо виселицы, и призрак пирата кричит мне в трубу, чтобы я выходил на берег, потому что меня давно пора повесить. Даже если бы мне хотелось спать, я бы боялся уснуть, помня, что, чуть рассветет, мне предстоит очистить кладовую. Ночью об этом нечего было и думать, — в то время зажечь свечу было не так-то просто; искру высекали огнивом, и я бы нашумел не меньше, чем сам пират, если бы он загромыхал своими цепями.

Едва только черный бархатный полог за моим оконцем начал бледнеть, я встал и отправился вниз, и каждая половица и каждая щель в половице кричала мне вслед: «Держи вора!», «Проснитесь, миссис Джо!». В кладовой, где по случаю праздника всякой снеди было больше обычного, меня сильно напугал заяц, подвешенный за задние ноги, — мне показалось, что он хитро подмигивает у меня за спиной. Однако проверить мое подозрение было некогда и долго выбирать было некогда: у меня не было ни минуты лишней. Я стащил краюху хлеба, остаток сыра, полбанки фруктовой начинки (завязав все это в носовой платок вместе со вчерашним ломтем), отлил немного бренди из глиняной бутылки в склянку, которая была припрятана у меня на предмет изготовления крепкого напитка — лакричной настойки, а бутылку долил из кувшина, стоявшего в кухонном буфете, стащил кость почти без мяса и великолепный круглый свиной паштет. Я совсем было ушел без паштета, но в последнюю минуту меня взяло любопытство, что это за миска, накрытая крышкой, стоит в самом углу на верхней полке, и там оказался паштет, который я и забрал в надежде, что он приготовлен впрок и его не сразу хватятся.

Из кухни была дверь прямо в кузницу; я отпер ее, отодвинул засов и среди инструментов Джо нашел подпилочек. Потом снова задвинул все болты и засовы, открыл входную дверь и, затворив ее за собой, побежал в туман, на болота.

ГЛАВА III

Утро было мглистое и очень сырое. Еще вставая, я видел, что по оконному стеклу бегут струйки, словно бесприютный бесенок проплакал там всю ночь, уткнувшись в окошко вместо носового платка. Теперь было видно, как изморозь густой

паутиной легла на голые ветки изгородей и чахлую траву, протянулась от сучка к сучку, от былинки к былинке. Ворота, заборы — все было липко от влаги, а с болот напелзала такой густой туман, что прибитый к столбу деревянный палец, указывающий путникам дорогу в нашу деревню, — только путники, видно, не слушались его, потому что к нам никто никогда не заходил, — возник в воздухе, лишь когда я очутился прямо под ним. И пока я смотрел на стекающие с него капли, беспокойная совесть шептала мне, что это — призрак, навеки обрекающий меня плавучей тюрьме.

На болотах туман был еще плотнее, так что казалось, словно не я бежал навстречу предметам, а они выбегали мне навстречу. Помня о своей вине, я ощущал это особенно болезненно. Шлюзы, плотины и дамбы выскакивали на меня из тумана и явственно кричали: «Держи его! Мальчик украл свиной паштет!» Коровы, столь же внезапно налетая на меня, говорили глазами и выдыхали вместе с паром: «Попался, воришка!» Черный бык в белом галстуке — измученный угрызениями совести, я даже усмотрел в нем сходство с пастором — так пристально поглядел на меня и с таким укором помотал головой, что я обернулся и, всхлипнув, сказал ему: «Я не мог иначе, сэр! Я взял не для себя!» Тогда он, нагнув голову, выпустил из ноздрей целое облако пара, брыкнул задними ногами, взмахнул хвостом и исчез.

Я быстро приближался к реке, но, хотя я очень спешил, ноги у меня ничуть не согрелись; ледяная сырость сковала их, как железо сковало ногу человека, на свидание с которым я бежал. Дорога на батарею была мне известна — я ходил туда с Джо как-то в воскресенье, и Джо, сидя на старой пушке, еще сказал мне в тот раз, что, когда меня честь честью запишут к нему в подмастерья, то-то будет расчудесно! И все же, сбившись в тумане с пути, я забрал слишком далеко вправо, и мне пришлось возвращаться обратно берегом реки, по каменистой дорожке вдоль илистой кромки и свай, задерживающих воду во время прилива. Стараясь не терять ни минуты, я живо перебрался через канаву, проходившую, как я помнил, совсем близко от батареи, и только что влез на противоположный откос, как увидел своего знакомого. Он сидел ко мне спиной, скрестив руки, и покачивался, словно во сне.

Решив устроить ему приятный сюрприз, я тихонько подошел к нему сзади и тронул его за плечо. Он мигом вскочил, и что же? Это был не тот человек, а совсем другой!

Однако у этого человека тоже была грубая серая одежда и железная цепь на ноге, и он хромал, и хрипел, и дрожал от холода совсем как тот; только лицо было другое, и на голове — широкополая шляпа с низкой тульей. Все это я увидел в одно мгновение, потому что всего мгновение и видел его: он выругался и хотел меня ударить, но лишь замахнулся неуверенным, слабым движением и сам едва удержался на ногах, а потом побежал прочь, в туман, два раза споткнулся, и тут я потерял его из виду.

«Это и есть тот приятель!» — подумал я, и у меня больно закололо в сердце. Вероятно, у меня и печенка бы заболела, если бы я только знал, где она находится.

Теперь мне оставалось добежать несколько шагов до батареи, где мой знакомец, поджидая меня, уже ковылял взад-вперед, обхватив себя руками, словно не прекращал этого занятия всю ночь. Он, как видно, совсем продрог. Я бы не удивился, если бы он тут же, не сходя с места, упал и замерз насмерть. Глаза у него были ужасно голодные: когда он, взяв у меня подпилоч, положил его на траву, я даже подумал, что он, наверно, попытался бы его съесть, если бы не увидел моего узелка. На этот раз он не стал переворачивать меня вниз головой, а предоставил мне самому вывернуть карманы и развязать узелок.

— Что в бутылке, мальчик? — спросил он.

— Бренди.

Он уже начал набивать себе рот фруктовой начинкой — причем похоже было, что он не столько ест ее, сколько в страшной спешке убирает куда-то подальше, — но тут он сделал передышку, чтобы глотнуть из бутылки. Его так трясло, что, закусив горлышко бутылки зубами, он едва не отгрыз его.

— У вас, наверно, лихорадка, — сказал я.

— Скорей всего, мальчик.

— Тут очень нездоровое место, очень сырое, — сообщил я ему. — Вы лежали на земле, а этак ничего не стоит схватить лихорадку. Или ревматизм.

— Ну, я еще успею закусить, пока лихорадка меня не свалила, — сказал он. — Знай я, что меня за это вздернут вон на

той виселице, я бы и то закусил. Настолько-то я справлюсь со своей лихорадкой.

Он глодал кость, заглатывал вперемешку мясо, хлеб, сыр и паштет, но все время зорко всматривался в окружающий нас туман, а порою даже переставал жевать, чтобы прислушаться.

Внезапно он вздрогнул — то ли услышал, то ли ему почудилось, как что-то звякнуло на реке или фыркнула какая-то зверюшка на болоте, — и спросил:

— А ты не обманул меня, чертенок? Никого с собой не привел?

— Нет, нет, сэр!

— И никому не наказывал идти за тобой следом?

— Нет!

— Ладно, — сказал он, — я тебе верю. Никудашным ты был бы щенком, ежели бы с этих лет тоже стал травить колодника несчастного, когда его и так затравили до полусмерти.

Что-то булькнуло у него в горле, как будто там были спрятаны часы, которые сейчас начнут бить, и он провел по глазам грязным, разодранным рукавом.

Мне стало очень жалко его, и, глядя, как он, покончив с остальным, всерьез принялся за паштет, я набрался храбрости и заметил:

— Я очень рад, что вам нравится.

— Ты что-нибудь сказал?

— Я сказал, я очень рад, что вам нравится паштет.

— Спасибо, мальчик. Паштет хоть куда.

Я часто смотрел, как ест наша большая дворовая собака, и теперь вспомнил ее, глядя на этого человека. Он ел торопливо и жадно — ни дать ни взять собака; глотал слишком быстро и слишком часто и все озирался по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь подбежит к нему и отнимет паштет. Мне думалось, что в таком волнении и спешке он его и не распробует как следует и что если бы он ел не один, то наверняка стал бы лязгать зубами на своего соседа. Все это в точности напоминало нашу собаку.

— А ему вы ничего не оставите? — осведомился я робко, после некоторого колебания, потому что опасался, как бы мои слова не показались ему невежливыми. — Ведь больше я ничего не могу вам достать. — Это я знал твердо и только потому и решился заговорить.

— Ему не оставлю? Кому это? — спросил он, сразу перестав хрустеть корочкой от паштета.

— Вашему приятелю. О котором вы говорили. Который у вас спрятан.

— Ах ты вот о чем, — отвечал он с грубоватым смехом. — Ему-то? Так, так. Ну, он в еде не нуждается.

— А мне показалось, что нуждается, — сказал я.

Он оторвался от еды и в полном изумлении впился в меня глазами.

— Показалось? Когда это?

— Да вот только что.

— Где?

— Там, — указал я пальцем, — вон там; он спал, и я еще подумал, что это вы.

Он схватил меня за шиворот и так сверкнул глазами, что я испугался, как бы ему опять не захотелось перерезать мне горло.

— И одет так же, как вы, только в шляпе, — объяснил я, весь дрожа, — и... и... — мне очень хотелось выразиться помягче, — и ему для того же самого нужен подпилочек. Разве вы вчера вечером не слышали, как палила пушка?

— Значит, и вправду стреляли, — сказал он, точно про себя.

— Странно, как вы еще сомневаетесь, — удивился я. — Мы дома все слышали, а это дальше, и двери у нас были закрыты.

— А ты тообрази, что когда человек один на этом болоте, и голова у него пустая, и в брюхе пусто, и сам он еле живой от холода и голода, он всю ночь только и слышит, что выстрелы и голоса. Да что там слышит! Он видит, как солдаты окружают его, видит их красные мундиры при свете факелов. Слышит, как выкрикивают его номер, как его окликают, как щелкают мушкеты, слышит команду: «Готовься! Целься!» — и его хватают... и вдруг ничего этого нет. Да я за ночь не раз, а сто раз видел, что за мной гонятся солдаты — топ, топ сапожищами, черт бы их побрал! А пушки? Я, уж когда рассвело, и то видел, как туман колышетя от выстрелов... Ну а этот человек, — до сих пор он говорил так, словно забыл о моем существовании, — ты не приметил в нем ничего особенного?

— У него лицо было сильно разбито, — сказал я, припомнив то, что и сам не знал, когда успел заметить.

— Вот здесь? — воскликнул он, безжалостно хлопнув себя ладонью по левой щеке.

— Да, здесь.

— Где он? — Человек запихал остатки еды за пазуху. — Показывай, куда он пошел? Я его выслежу не хуже ищейки. Ох, еще эта цепь на ноге, будь она проклята! Подай-ка мне подпилочек.

Я указал, в какой стороне туман поглотил незнакомца, и он, подняв голову, взглянул туда, но в следующую минуту он уже сидел на спутанной мокрой траве и, как одержимый, пилил железное кольцо, не обращая внимания ни на меня, ни на свою ногу, которая была стерта до крови, что не мешало ему обходиться с нею так, словно она сама была железная. Теперь, когда он довел себя до такого исступления, мне опять стало с ним очень страшно, и страшно было, что дома заметят мое долгое отсутствие. Я сказал ему, что мне пора домой, но он будто не слышал, и я решил уйти потихоньку. Я оглянулся на него напоследок, — низко пригнувшись, он продолжал что есть силы пилить железное кольцо, вполголоса ругая и его, и собственную ногу. Пробежав несколько шагов, я прислушался — и скрежет подпилка донесся до меня из тумана.

ГЛАВА IV

Я был вполне готов к тому, что в кухне меня дожидается констебль, чтобы тотчас взять под стражу. Однако там не только не оказалось констебля, но и кража еще не была обнаружена. Миссис Джо выбивалась из сил, готовя дом к праздничному пиршеству, а Джо велено было убраться за дверь, подальше от совка для сора, потому что всякий раз, как моя сестра особенно рьяно принималась наводить чистоту в своих владениях, Джо неизбежно попадал ногой в этот предмет домашнего обихода.

— А тебя где носило? — услышал я от миссис Джо в виде праздничного приветствия, лишь только мы с моей совестью показали в дверях.

Я сказал, что ходил слушать, как славят Христа.

— Ну, это еще куда ни шло, — процедила миссис Джо. — А то ведь с тебя все станет.

Я подумал, что это верно.

— Не будь я кузнецовой женой, а стало быть, рабой несчастной, которой и передник-то снять некогда, я бы, может, и сама сходила послушать, — сказала миссис Джо. — Я смерть люблю, когда Христа славят, потому мне, наверно, и не удастся никогда послушать.

Увидев, что совок отступил от порога, Джо вслед за мной бочком пробрался в кухню и в ответ на гневный взгляд миссис Джо примирительно почесал переносицу, а когда сестра отвернулась, молча скрестил указательные пальцы и подмигнул мне. Этим условным знаком мы сообщали друг другу, что миссис Джо не в духе, а поскольку это было обычное ее состояние, мы с Джо, можно сказать, иногда на целые недели уподоблялись надгробным статуям рыцарей, с той разницей, что они, как известно, лежат скрестив ноги.

Обед нам предстоял поистине роскошный — соленый окорок с гарниром и фаршированные куры. Сладкий пирог был испечен еще вчера утром (почему никто и не хватился остатков фруктовой начинки), а пудинг уже стоял на огне. Ввиду такого обеденного изобилия завтрак нам попросту отменили.

— Чтобы я еще вас с утра кормила, да поила, да посуду за вами мыла, — сказала миссис Джо, — когда мне с обедом дай бог управиться, — нет уж, увольте!

Она сунула нам по ломтю хлеба так, словно мы были полк солдат на походе, а не мужчина и ребенок у себя дома, и мы стыдливо запили его молоком, разбавленным водой из стоявшего на полке кувшина. А миссис Джо тем временем повесила на окна чистые белые занавески, сменила пышную цветастую оборку над очагом и открыла взорам маленькую парадную гостиную, где в остальное время года никто не бывал и все недвижимо покоилось в холодном блеске серебряной бумаги — даже четыре белые фарфоровые собачки на камине, совершенно одинаковые, с черными носами и с корзиночками цветов в зубах. Миссис Джо была очень чистоплотной хозяйкой, но обладала редкостным умением обращать чистоту в нечто более неуютное и неприятное, чем любая грязь. Чистоплотность, говорят, сродни благочестию, и есть люди, достигающие того же своей набожностью.

Будучи всегда занята по горло, сестра моя посещала церковь через доверенных лиц; другими словами, в церковь ходили

Джо и я. В рабочем платье Джо выглядел ладным мужчиной, заправским кузнецом; в парадном же костюме он больше всего напоминал расфранченное огородное пугало. Все, что он надевал по праздникам, было ему не впору, словно с чужого плеча, все ему жало, тянуло. И в этот день, когда зазвонили в церкви и он вышел из своей комнаты, закованный с головы до пят в праздничные доспехи, вид у него был самый несчастный. Что касается меня, то у сестры, видимо, сложилось обо мне представление как о малолетнем преступнике, который в самый день своего рождения был взят под надзор полицейским акушером и передан ей с внушением — действовать по всей строгости закона. Она всегда обращалась со мною так, точно я появился на свет из чистого упрямства, вопреки всем велениям разума, религии и нравственности и наперекор увещаниям своих лучших друзей. Даже когда мне заказывали новое платье, от портного требовали, чтобы оно являло собой нечто вроде колодок и ни в коем случае не оставляло мне свободы движений.

Поэтому не одно жалостливое сердце, должно быть, сжималось при виде того, как мы с Джо шествуем в церковь. Однако куда горше телесных страданий были душевные муки, которые я испытывал. Страх, охватывавший меня всякий раз, как миссис Джо приближалась к кладовой или выходила из кухни, мог сравниться только с раскаянием при мысли о содеянном мною. Подавленный своим тайным проступком, я размышлял о том, в силах ли будет церковь оградить меня от мщения ненасытного «приятеля», если я во всем ей откроюсь. Я уже решил, что самое подходящее время, чтобы встать и попросить о частной беседе в ризнице, наступит, когда священник прочтет оглашение и скажет: «Все имеющие что-либо против объявите о том немедленно!» И вполне возможно, что, будь в тот день не Рождество, а воскресенье, я действительно прибегнул бы к этой крайней мере, тем повергнув в изумление наших немногочисленных прихожан.

Обедать к нам были приглашены псаломщик мистер Уопсл, колесник мистер Хабл со своей женой миссис Хабл и дядя Памблчук, состоятельный торговец зерном из соседнего городка, разъезжавший в собственной тележке (он приходился дядей нашему Джо, но миссис Джо присвоила его себе). Обед был назначен на половину второго. Когда мы с Джо вороти-

лись из церкви, стол был уже накрыт, миссис Джо готова, обед почти готов, парадная дверь отперта для приема гостей (обычно она стояла на запоре) — словом, все обстояло как нельзя лучше. И о краже по-прежнему — ни звука.

Пришло время обедать, не принеся мне никакого облегчения; пришли и гости. Мистер Уопсл, джентльмен с римским носом и огромным блестящим лысым лбом, обладал низким раскатистым голосом, которым необычайно гордился; среди его знакомых было даже распространено мнение, что, только дай ему волю, он заткнул бы за пояс нашего священника; и сам он не раз говорил, что, будь двери церкви открыты (для всех желающих служить в ней), он не преминул бы отличиться на этом поприще. Поскольку же двери церкви не были открыты, он был у нас, как я уже сказал, псаломщиком. Но «аминь» звучало в его устах поистине сокрушительно, а перед тем как объявить псалом — непременно весь первый стих до конца, — он всегда, бывало, оглядит собравшихся, словно говоря: «Вы слышали с кафедры голос нашего друга; ну а *это* как вам понравится?»

Я открывал гостям дверь — с таким видом, будто открывать эту дверь для нас самое привычное дело, — и впустил сначала мистера Уопсла, потом мистера и миссис Хабл и, наконец, дядю Памблчука, которого мне, кстати сказать, запрещалось называть дядей под страхом самого сурового наказания.

— Миссис Джо, — возгласил дядя Памблчук, грузный, неповоротливый мужчина, страдающий одышкой, с выпученными глазами, рыбьим ртом и изжелта-рыжими волосами, торчком стоявшими на голове, так что казалось, точно его недавно душили и он еще не совсем очнулся. — Я принес вам по случаю праздника... я принес вам, сударыня, бутылочку хереса и еще, сударыня, бутылочку портвейна.

Из года в год он являлся к нам на Рождество и произносил, как великую новость, в точности те же слова, держа свои бутылки на манер гимнастических гирь. Из года в год миссис Джо отвечала ему, как и в этот раз: «Ах, дядя Памблчук! Какое баловство!» Из года в год он возражал, как и в этот раз: «По заслугам и честь. Ну, как вы тут? Скрипите помаленьку? Как наш пенни с фартингом?» Последнее относилось ко мне.

Обедали мы в этих случаях в кухне, а потом переходили в гостиную есть орехи, апельсины и яблоки, причем переход